



Н·С·ЛЕСКОВ

Николай Семёнович Лесков

Русский демократ в Польше
(Праведники #4)

Содержание

#1	0005
Глава первая	0006
Глава вторая	0011
Глава третья	0016
Глава четвертая	0019
Глава пятая	0029
Глава шестая	0033
Глава седьмая	0036
Глава восьмая	0041

Николай Лесков

Русский демократ в Польше

Это – маленькая историйка, но я думаю, что ее тоже, пожалуй, можно примкнуть к рассказам «о трех праведниках». Так говорил мне почтенный старец, со слов которого я записал рассказ об иноках кадетского монастыря, а теперь в виде post-scriptum записываю еще одно последнее сказание.

Глава первая

Я поступил на службу прямо по выходе из корпуса в канцелярию главнокомандующего действующею армиею генерал-фельдмаршала князя Паскевича. Это было в тридцать втором году, в январе месяце – значит, вскоре после покорения Варшавы, которая взята в августе тридцать первого года. Директором этой канцелярии был действительный статский советник Иван Фомич Самбурский, про которого и пойдет моя речь. Его позабыли, и история о нем умалчивает, а он был человек замечательный и, по моему мнению, даже исторический.

Самбурский был малоросс и имел репутацию человека необыкновенного ума и способностей, а также отличался честностью и непреклонностью убеждений. Тогда еще на службе такими людьми иногда дорожили, и если не всегда, то хоть изредка о них вспоминали и думали, что без них нехорошо, что они нужны. Притом же Иван Фомич был невообразимо деловит: буквально не было занятия, к которому он был бы неспособен и,

взявшись за которое, оказался бы не на своем месте. О честности же, разумеется, и говорить нечего – на одних комиссионерах и интендантах миллион мог нажать, а он ничего не наживал и для всех воров был неодолим. Всякую хитрость провидит и округлит. Это было известно, и потому при назначении Ивана Фомича в директора канцелярии при Дибиче ему было положено двойное жалованье.

Обязанности директора канцелярии были очень большие и чрезвычайно разносторонние. По взятии Варшавы, тут сосредоточивалась и военная, и гражданская переписка по всему Царству Польскому; он должен был восстановить русское правление вместо революционного; привести в известность статьи доходов и образовать правильный приход и обращение финансов. Вообще требовалось организовать дело, которое после военного разгрома представляло обыкновенный в таких случаях хаос.

Это труд огромный и почтенный, но неблагодарный. Он требует человека свыше обыкновенных способностей и поглощает его все; а между тем деятельность его не видна и

остаётся почти незамечаемою, так сказать, черною работою, вроде уборки чего-то в тылу.

Нынче, может быть, это ещё лучше, потому что теперь о тыле располагают совсем иначе, но тогда вся слава и честь почиталась быть на виду – впереди, в опасности. В тылу тогда, бывало, остаются не иначе, как плачущи. Ну, а уже что при таком взгляде могла значить канцелярская крыса, – это понять не трудно. Штатские, впрочем, тогда и повсеместно мало где и за людей были почитаемы. Такое время было, и за это нечего сердиться. У всякого времени свои странности, а одна из тогдашних странностей была – пренебрежение ко всем невоенным занятиям. Исключение делали для одного графа Сперанского, но и то ставили это себе за неприятную необходимость. Удивительно вспомнить, как люди, бывало, с особенною серьёзностью внушали, что «Россия государство не торговое и не земледельческое, а военное и призвание его быть грозою света»... Хомяков сказал: «мы долго верили среди восточной лени и грязной суеты» и проч., – и действительно, верили. Так часто тогда повторялось это мудрое изре-

чение, что, бывало, наслушаешься и начнешь верить. Крым это поисправил, а то меры не было вздорам. Рассказывали, например, какие-то полудикие анекдоты, как пришли два офицера в трактир и, видя двух штатских, говорят лакею: «Поддай нам двух титулярных советников!» Тот недоумеваает, а они ему объясняют вслух, что титулярные советники – это рябчики. В ответ на это один из штатских говорит: «а нам, братец, дай двух поручиков под хреном». Лакей опять недоумеваает, а штатский изъясняет ему гласно, что поручики – это поросята. Этот глупый анекдот выражал настроение.

Я сам помню, как раз вечером, на том месте Казанской площади, у садика, где теперь часто стоит тележка чухонца с выборгскими кренделями, иду я домой, а передо мною идут два офицера и говорят:

– Видишь штафирку?

Другой отвечает: вижу.

И указывают друг другу на чиновника, который покупает крендельки и завязывает их в платочек. Верно, человек бедный был, потому что шляпенка на нем рыженькая, и

сам он тощий, заморенненький, а на нем шинелька суконная, ветхая, подол подтрепан и разрез сзади, – как это делалось.

Один офицер говорит: давай, разорвем его.

Другой отвечает: давай.

И тут же, на моих глазах, взяли его за край шинельного разреза, потянули в разные стороны и располосовали пополам до самого воротника. Только пыль из старого суконца посыпалась, и крендельки он свои, бедняк, разронял. А все это совершенно ни за что, да и без злобы, а так, можно сказать, по глупой манере носились сами с собою в каком-то священном восторге и как зыкливые телята брыкались. Я же вам об этом упоминаю для того, чтобы показать, какой был дух времени и какое царствовало неблагоприятное для гражданской деятельности настроение – особенно в кругу тесного соприкосновения с людьми военными.

Глава вторая

Самбурский, с его правильным умом, конечно, отлично понимал свое время и потому, идучи в директоры канцелярии, знал как устроиться. Он позаботился не только о деньгах, которых у него не было и на которые он, естественно, имел право, принимая на себя труд большой и чрезвычайно ответственный, но он выговорил себе и такое положение, чтобы ему не быть пешкою. Он не хотел быть слепым исполнителем чьих-либо случайных фантазий, а желал иметь необходимую для пользы службы свободу выбора людей и плана действий, равно как и средств к их исполнению. С князем Иваном Федоровичем это было еще необходимее, чем с Дибичем, который был очень толковый администратор. С Паскевичем было труднее, ввиду очень многих свойств его характера и манеры распоряжаться: иные из его распоряжений, бывало, не только неудобно исполнить, но даже иногда нельзя и понять.

Я не знаю, как понимал Паскевич в точности огромные способности Самбурского, на

мой взгляд, представляющиеся необычайными; но знаю, что он в душе ценил его превосходную честность. Мне известно также, что он был прельщен одним анекдотом, который относился к юношеским годам Ивана Фомича и заключался в следующем.

Самбурский был бедный человек и нуждался в работе. Работать он мог, разумеется, только пером, к чему имел счастливый дар прекрасного изложения мыслей спокойно плавно и вразумительно. Когда хотел тронуть или обличить и доказать справедливость, — был неподражаем. С этой стороны он сделался известен по поводу прошения, написанного им для одной бедной мелкопоместной дворянки, тяжко оскорбленной богатым соседом. Прощение это, поданное императору Александру Павловичу в четверг на Страстной неделе, растрогало его величество до слез, и государь спросил: «Кто писал?» Вдова назвала Самбурского. И это обратило на него внимание многих. Что же касается самого предмета просьбы, то император велел переследовать неправильно решенное дело, и вдова после многих лет обид и страдания была восста-

новлена в своем праве. Самбурский писал мастерски, может быть, отчасти потому, что он превосходно чувствовал, вдохновенно проникал справедливость и любил постоять за нее без страха.

Все это у него шло свободно, вольно, натурально, с какою-то поэтической отвагою типичного хохла. Глядя на него, бывало, не раз вспоминаешь чье-то верное замечание о малороссах, что между ними очень редко встречается середина в нравственности. Нигде натуры не бывают цельнее и даже отчасти прямолинейнее, как в Малороссии. Там, если честный человек, так ничем его не своротишь, и негодяи, если задаются, так тоже бывают ничем не исправимые. Самбурский, разумеется, был из хохлов первого сорта.

Но я отбиваюсь от анекдота, который располагал к Самбурскому Паскевича, и едва ли не был, быть может, главным поводом, почему фельдмаршал уважал его.

Был какой-то ученый, какой-то трудной специальности, говорили, будто астроном. Ему надо было написать ученое сочинение на какую-то степень по этому предмету, который

он хорошо знал, но был совершенно бездарен. Сидел, сидел этот ученый, мучился и пришел в отчаяние, а Самбурский был к ним вхож и в доме дружен. Видит он это горе, день, два, месяц, давал советы, обещал помощь и, наконец, рассердясь, говорит:

– Да расскажи ты мне все, что тебе надо написать. Тот отвечает:

– Это нельзя, – это целый предмет.

– Ну, и рассказывай целый предмет.

Принудил рассказать, выслушал, а через неделю приносит написанную диссертацию.

Может быть, тут что-нибудь раздуто и преувеличено, – я не знаю, но дословно такой анекдот ходил о Самбурском, и многие передавали его даже едва ли не так, что Иван Фомич не знал астрономии, но всю ее проник одною силою своего острого ума.

Вообще по всему можно было видеть, что фельдмаршал считал своего директора за человека необыкновенного, которого надо было уважать; но тем не менее это не помешало им разойтись довольно смешно и, так сказать, анекдотически. Поводом к этому послужило их несогласие в оригинальном вопросе о са-

моварах, которым Иван Фомич Самбурский надумал дать государственную роль в истории.

Глава третья

По благородной простоте характера Ивана Фомича, у нас канцелярия была будто его семья. Она вся была небольшая, кажется, человек из десяти, но как в ней составлялись бумаги самого секретного содержания, то в ней люди были собраны с большою осторожностью и по самым надежным рекомендациям. Но раз как человек был принят, Иван Фомич терпеть не мог показывать, что он его остерегается или имеет к нему неполное доверие. Эта дрянная, хотя весьма распространенная, манера душ мелких и подозрительных была чужда его благородному и дальновидному уму. Самбурский знал, что единокордие ничем так не достигается, как любовью, и имел благоразумие дорожить сердечными чувствами своих младших сотрудников. Молодых людей он старался знать со стороны их способностей и в минуты своего небольшого отдыха всегда с ними беседовал, о чем приходило ему в голову. Этим способом он всегда знал настроение наших мыслей и силу сообразительности. Бывало, поговорит, поговорит, да

смотришь и даст работу, из назначения которой видишь, что он тебя уже совсем и смерил. Такого начальника, разумеется, мудро не любить и не ценить, и мы все были к нему очень привязаны.

Правая рука его у нас был начальник отделения Лахтин, очень образованный человек, с которым Самбурский любил посоветоваться. Но и советы совещал он не по официальному, а по-семейному, т. е. не наедине, «при закрытых дверях», в насмешку над которыми тайны, за ними сказанные, очень быстро разносятся, а Самбурский говорил прямо при нас, молодых людях, как бы приучая тем нас к скромности на всяк час, без особых предупреждений.

Однажды, когда мы таким образом все были в сборе за своим делом, Самбурский поднял голову от бумаг, назвал Лахтина по имени и отчеству и спросил его: очень ли он занят, – что он хотел бы с ним поговорить.

Лахтин отвечал, что у него в эту минуту особенных занятий нет и он готов к его услугам.

Самбурский и говорит:

– Давно я думал об одном предмете, а нынче бессонною ночью, ворочая его со стороны на сторону, кажется, додумался до чего-то похожего на дело. Не знаю, каков будет об этом ваш суд, но мнение ваше знать очень желаю.

Лахтин отвечал, что он слушает со вниманием. Мы же оставались, как всегда бывало, при своих местах.

Несмотря на милую доброту Ивана Фомича, все мы держали себя с ним крайне почтительно.

Глава четвертая

— Каждое царствование, — начал Самбурский. — мы ведем здесь побоища с поляками, но самое огромное побоище было теперь; оно стоило денег двести миллионов, а человеческих жертв шестьдесят тысяч. Это меня приводит в ужас. Сколько вдов, сирот и стариков, которых кормить некому после такой победы? За это надо ответ дать богу, а между тем мы от своей роли здесь отказаться не можем, пока не устроим своих единоверных в Литве и в юго-западном крае. Польша — бог с ней; но своих мы никак не можем оставить на произвол судьбы.

Самбурский, ошибался он или нет, был того мнения, что Польша нам *не нужна* и составляет для нас вопрос только, пока не упрочены как надо юго-западный край и Литва. Поэтому он и проектировал все свои меры для этой окраины и был уверен, что если те меры выполнить, т. е. если Литва, Волынь и Подолия сделаются совершенно русскими, то о Польше и говорить не стоит и беречь ее при себе не для чего. Тогда она лезть к нам под

бок не может чрез сплошное единоверное нам население с русским дворянством и беспокоить нас не будет. А что касается собственного ее значения для России, то Самбурский сводил его к нулю и говорил:

– Надо желать, чтобы она сделалась самостоятельной, надо ее сделать таковою и бросить. Тогда ее сейчас же сожрут немцы и запаха ее не останется.

Он даже думал, что Польша нам вред и болезнь.

– Наполеон, говорит, ошибался, называя Кавказ нашим вечным чирьем, – настоящий вечный чирый наш – Польша, и мы ее будем таскать, пока не загородимся полосой западного края, а саму Польшу бросим. Иначе она нам нагадит, напустит внутреннего разлада (что, кажется, и сбывается). Но я возвращаюсь к прерванному разговору Самбурского с Лахтинным.

– Непременно, – сказал Самбурский, – надо на будущее время сделать невозможными такие кровопролития; а если вести дела так, как они ведутся, то нет никаких оснований предполагать, что это когда-нибудь кончится.

Усмирим мятеж, подсечем старые корни, а молодые побеги опять отрыгнут, и через несколько лет снова готова такая же история.

Лахтин качнул в знак согласия головою и сказал:

– Это иначе и быть не может.

– Да; это очень естественно, – согласился Самбурский: – если прилагать к нашим расправам с Польшей один узкий масштаб военных занятий западного края, то это не может быть иначе. Пушки и ружья, по моему мнению, не имеют того влияния, какое нужно, чтобы раз навсегда отучить поляков от неуместных претензий на Литву и на юго-западный край, населенный народом, который поляков не любит. Нужно еще особое орудие.

– Какое же?

– А вот отгадайте.

– Не могу, – отвечал Лахтин.

Самбурский улыбнулся и сказал:

– Это оружие – самовар.

– Что-о такое?!

– Самовар-с, самовар, Николай Андреевич, – простой русский самовар.

Тут уж и мы, «молодые люди», слыша,

что наши набольшие договорились до таких странностей, перестали работать и подняли головы с недоумением, чем это разъяснится: серьезным делом или шуткою.

– Приходило ли вам когда-нибудь на мысль положение престарелого офицера? – продолжал Самбурский.

– Очень много раз приходило, – отвечал Лахтин.

– Вот видите! Значит, у кого есть некоторый жар в сердце и любовь к человечеству, то ко всякому такому человеку этот вопрос бьется. Это недаром: в чье-нибудь сердце он хочет достучаться. Теперь посмотрите дальше, сколько у нас в армии из офицеров людей женатых, особенно вверх от капитанского чина... Это уже настоящие страстотерпцы: служат они, и на службе им нет никакой радости, а под старость и угла нет, где приклонить голову. Хорошо, который куда-нибудь городничим попадет, да будет морковью или потрохами на базаре взятки брать или у арестантов из трехкопеечного содержания половину воровать станет. Но ведь очень немного таких счастливцев, которым такая карьера

выпадет, а то жаль смотреть, чем занимают-ся...

Лахтин отозвался:

– Это правда!

– Да как же не правда! – продолжал Самбурский. – Пока молод да легкомыслен, он и в восторге: его занимает, что и шпоры звенят, и эполеты блестят, а как с летами в разум начнет приходить, так, ведь, – сделайте вашу милость... мишура-то слетит и очень горько станет.

– Ропщут, – молвил Лахтин.

– Да; ропщут, но очень мало ропщут, – отвечал, продолжая материю, Самбурский: – удивительные люди, – праведники. Иной бы, поди, какого шума наделал и целый бы век все визжал, а наш с сердцов за чаркой зелена вина где-нибудь выругается, а потом завьет горе веревочкой, да так всю жизнь с обрывком и ходит. Только не дергай его за этот узелок, потому что у него тут больное место завязано. Все, все простить ему надо, и даже свечку поставить. Служил как следует, сколько раз его могли убить и изувечить, а другой, может быть, и изувечен, а между тем, война

кончится, состав войск введется на мирное положение, и тысячи этих отставных слуг отечества идут в заштат. Разумеется, это в порядке вещей, да смотреть-то на них жалко в этом положении. Хорошо, который куда-нибудь на частную должность примкнет к откупу, или к какой конторе... Разумеется, не особенно высокоблагородно, но, по крайней мере, спрятан от когтей нужды и питается; а то на выдумки идут: янтарьки продают, просьбы по постоянным дворам пишут, в трактирах фокусы показывают, – всего и не перечесть.

– И не дай бог, – вставил Лахтин.

– Именно, не дай бог, а между тем в таком печальном исходе совсем нет никакой необходимости. Если об этом хорошенько подумать, то есть даже средство не только оказать оторванным от мирных занятий военным людям справедливость, но выставить прямо отечество благодарным к своим слугам, – и в то же время за один прием достигнуть высшего государственного плана – пресечь возможность повторения беспокойной аристократической крамолы. Вот в чем дело: вам, как и мне, известно количество казенных и

конфискованных магнатских земель на Литве и в юго-западном крае. Казне они не приносят дохода, – все съест администрация. Поэтому, выгоднее будет отдать их в частные руки. Я сообразил и расчел, что из них можно накрошить двадцать пять тысяч небольших помещичьих имений, из которых каждое может приносить от пяти до шести тысяч годового дохода.

– Я думаю, вы не ошиблись, – сказал Лахтин.

– Расчет мною сделан верно. Необходимо только, чтобы все эти земли явились в трудолюбивых руках, и именно в руках воинов, поработавших для водворения здесь русского владычества. Офицеры в правах и в истории малосведущи, но они хорошо знают, чего им стоило усмирить разыгравшийся здесь мятеж, и потому оценят все настоящим образом, без фантазии. Притом же это будет им справедливым вознаграждением, за которое они будут благодарны правительству и усугубят свою преданность. А чтобы и казна своего не потеряла – даром ничего давать не нужно, даровое всегда слабо ценится. А надо благоразум-

но перевести эти земли из непроизводительного казенного управления в частные руки, и для этого есть средства. Стоит только образовать банк или другое какое кредитное учреждение с специальной целью помочь приобретению этих земель русскими воинами на льготных для выплаты условиях, и цель эта будет вполне достигнута. А когда на двадцати пяти тысячах мест станут двадцать пять тысяч русских помещичьих домиков, да в них перед окнами на балкончиках задымятся двадцать пять тысяч самоваров и поедет сосед к соседу с семейством на тройках, заложённых по-русски, с валдайским колокольчиком под дутою, да с бубенцами, а на козлах отставной денщик в тверском шлыке с павлиньими перьями заведет: «Не одну во поле дороженьку», так это будет уже не Литва и не Велико-Польша, а Россия. Единоверное нам крестьянское население как слышит пыхтенье наших веселых тульских толстопузиков и расстилающийся от них дым отечества, – сразу поймет, кто здесь настоящие хозяева, да и поляки увидят, что это не шутка и не «збуиство да здрайство», как они называют наши

нынешние военные нашествия и стоянки, а это тихое, хозяйственное заселение на всегдашние времена, и дело с восстаниями будет покончено.

Лахтин вскричал:

– Это великолепно!

– Вы одобряете?

– Великолепно. Иван Фомич, великолепно!

А мы, – хотя нас не спрашивали, – под влиянием пропекшего нас горячего чувства, все встали, поклонились Ивану Фомичу и без уговора сказали ему:

– Бог в помощь! Бог в помощь!

Он откланялся нам жестом руки и сказал:

– От души благодарю, господа, – ваше сочувствие мне дорого и дай бог, чтобы наше – как вижу – общее желание исполнилось ко благу нашей родины. А чтобы не оставаться долго на этот счет в томительной нерешимости, – я сейчас отправлюсь к фельдмаршалу и сейчас же представлю ему мою мысль.

Он встал, перекрестился, сказал: «Господи благослови!» – и вышел.

Мы, провожая его глазами, желали ему удачи. И хотя все это происходило в канцеля-

рии, где торжественных минут сердечного восхищения по штатам не полагается, но тут оно было. Мы чувствовали, как сердца наши в нас горели, при мысли, что целые двадцать пять тысяч семейств наших военных трудников разведут себе по домам и на полянках свои самовары и станут попаривать своим чайком свои косточки, под своею же кровлею, которую дало им за их кровную службу отечество.

Конечно, может быть, теперь за это кто-нибудь и осудит, но надо было быть ближе к тому времени, которого это касается, и видеть воочию мужественных людей, судьбу которых по отставке просто и трогательно нам вспомянул Иван Фомич. Тогда станет понятно то чувство, какое мы испытывали, и оно было действительно патриотическое чувство, хотя и родилось в канцелярии.

Глава пятая

Вечером мы в своих кружках думали и гадали: каковы могут быть последствия смелого и, как нам казалось, гениального по своей простоте предложения Ивана Фомича? Нам казалось невозможным, чтобы фельдмаршал не внял его представлениям и не позволил изыскать средства к их осуществлению.

Один только, – был у нас другой начальник отделения, Ивашин, с русской фамилией, но хохол, он был грубоват и выражался не изысканно, – так он не то что сомневался, но не отрицал возможности сомнения, и тем нас огорчал. Он, лениво цедя слова сквозь зубы, сказал:

– Перестаньте угадывать и ждите утра: не угадаете; может случиться и то, чего не может быть. Совершенно невозможно на свете только одно, – козырного туза покрыть, этого уже никакой чудотворец не сделает.

Добрейший Яков Фомич (так звали Ивашина) был и умник, и делец, и характера самого достойного, но любил, к своему наследственному гадяческому или кролевецкому остро-

умию, подпустить благоприобретенного волтерьянства. Особенно он лих был насчет чудес, которые имел слабость считать личною для себя обидою, и всегда имел при себе наготове этого козырного туза, которого, по его словам, «никакой чудотворец не покроеет».

Но ночь прошла в мирном сне, или, кому спать не хотелось, – в других каких-либо занятиях, а наутро приходит в канцелярию Лахтин и говорит:

– Свидание Ивана Фомича с фельдмаршалом было как нельзя больше благоприятно. Больше ничего вам сказать не могу, но Иван Фомич сам все расскажет.

Самбурский как пришел, подписал заготовленные к этому дню бумаги и потом говорит:

– Поздравляю всех вас, господа, с радостною работою. Фельдмаршал, выслушав мои соображения, о которых здесь вчера было говорено, изволил выразить этому делу свое сочувствие и желает, чтобы были составлены самые точные и полные сведения с возможно подробным кадастровым описанием, по которому можно было бы судить о достоинстве и

стоимости имений. Это работа сложная и трудная, потому что мало данных, но тем более чести ее исполнить, и я надеюсь, что тут мы себя покажем достойными его доверия и исполним все как только возможно и с большою радостью.

Действительно, работали с радостью. Откуда только что возможно было выбрать – все собрали. А сам Иван Фомич в это время изготовил свой проект, который, как все им писанное, был изложен мастерски и пошел в ход. Прежде чем готовы были наши кадастры и сметы, потребные уже к заключительному дележу и рассадке двадцати пяти тысяч наших воинов, которые должны были поставить свои самовары и напустить здесь приятного отечественного дымку, князь был введен Самбурским во все его соображения.

Все остальное делалось скоро, мы спешили изготовить дело к поездке фельдмаршала в Петербург, и изготовили так благовременно, что он мог до отъезда изучить и детали дела. Это было необходимо для обстоятельного объяснения на каждый могущий возникнуть в Петербурге вопрос. Самбурский был очень до-

волен, что князь вникает в дело внимательно и даже делает себе отметки о землях.

Последнее было тем радостнее, что Иван Фомич, имевший на руках кучу дел, не мог оставить Варшавы и не сопровождал фельдмаршала. Стало быть, очень важно было, чтобы он все знал и мог все совершить, не требуя каких-нибудь частных разъяснений.

Самбурский не ошибся: фельдмаршал, действительно, вполне овладел предметом и сочинил собственный план, как этим делом распорядиться.

Глава шестая

Паскевич уехал, а мы в это время в своей канцелярии все возились с эмеритурою и вообще уравнением русских чиновников в выгодах службы с чиновниками из поляков, которые имели многие преимущества. У нас это дело поднимал и горячо, но безуспешно разрабатывал Ивашин, а мы все ему помогали, только без пользы. Это отсрочилось до новых историй, когда нас там уже не было. При нас, как ни горячился Ивашин, русские чиновники военного министерства все получали за выслугу 35 лет 150–200 р. пенсии, а чиновники Царства Польского из поляков по той же должности получали за выслугу 25 лет по 6.000 злотых эмеритального пенсионера. Ивашин представил это Паскевичу, и тот нашел это неправильным и позволил открыть переписку с разными ведомствами. Всем нам хотелось упорядочить это так, – чтобы русским не обидно было против поляков, но не вышло по-нашему. Сведения о штатах доставлялись плохо, и это нам причиняло много хлопот, за которыми мы и не заметили, как

прошло время отъезда светлейшего и он снова вернулся в Варшаву.

Перед возвращением князя ни снов никто не видал, ни мыши из нор не выходили, ни невидимая нежить тяжелою ступнею по полу не расхаживала и не трещала половицами, словом, ничто никого не выживало, а между тем для всех нас был готов удар, самый неожиданный и очень вредный для дела, но отчасти и не лишенный комизма, или, лучше сказать, горькой иронии.

Самбурский виделся с фельдмаршалом по его возвращении не из первых, и притом не с глазу на глаз, а на официальном выходе.

Иван Фомич не был самолюбив в дурном смысле этого слова, да и укола в этом его самолюбию не было, но было другое, чего он имел причины не желать и опасаться. Было заметно, что светлейшему как будто неловко или, по крайней мере, неприятно что-то сообщить своему директору, которого умом и соображениями он сам гордился, а честность его уважал.

Но, конечно, игры нельзя было тянуть долго: при первом же докладе, будет или не будет

речь о том, что фельдмаршалу неприятно, – Самбурский с его прозорливостью прочтет князя; да и самому князю, который никого не боялся – нескладно же так институтски конфузиться лица ему подчиненного, каким был Самбурский.

Паскевич, конечно, все это знал и не мог поступить иначе, как поступил.

Глава седьмая

Самбурский возвратился с доклада князю не скоро, но сошел в канцелярию спешными шагами, был красен и расстроен.

Он роздал начальникам отделения Иващину и Лахтину принесенные с собою бумаги и послабив пальцем галстук сказал:

– Господа! я с вами прощаюсь.

Услыхав это, мы все вскочили с мест и, забыв всякую дисциплину, бросились к нему и осыпали его вопросами: что, как и для чего?

– Я подаю в отставку.

Все опять заговорили:

– Для чего, Иван Фомич, для чего?

Он отвечал, представление мое решено иначе, – князь имеет майорат, который должен приносить 200.000 злотых, несколько других лиц получили меньшие участки с доходами тысяч до 60 и т. д. Вместо многих маленьких русских оседлых помещиков будет только очень немного крупных, и притом таких, которые никогда в своих деревнях не сидят, – самоваров на стол не ставят и за чаем по-русски не говорят. Такого оборота я не

ожидал и не мог предвидеть, по эта игра не стоит свеч. Если бы я знал, что это случится, то я задушил бы в себе эту мысль, которую столько времени носил и в значении которой для России и для Польши не сомневаюсь. Но теперь она совершенно испорчена и, чтобы ее поправить, надо ожидать нового восстания и новых конфискаций... Без этого и не обойдется, но одно соображение об этом меня угнетает. Я этого снести не могу.

Мы заговорили:

– Ну что, Иван Фомич, – все может измениться: фельдмаршал вас уважает и любит...

– Да; благодарю его, – перебил Самбурский: – он меня не забыл, – мне тоже предложено выбрать себе майорат, но я этим не воспользуюсь, – я от него отказался. Передо мною была открыта возможность полнейшей оценки всех земель и угодий вовсе не за тем, чтобы я мог выбрать себе лучшее. Служить каждому правительству нужно честно, а тем более правлению монархическому, где государь один правит, и потому кому он верит, тому грех и стыд не хранить и не беречь его доверие, а думать о себе. От этого падает ува-

жение ко всему правительству. В разговоре со мною было употреблено слово «демократ». Оно шло, очевидно, по моему адресу... Что же, – я принимаю и не обижаюсь; демократ не демагог. Быть демократом, между прочим, значит желать счастья возможно большему числу людей. Я этого желаю, и, по-моему, в этом нет ничего дурного. Аристократия желает противоположного; господства своего меньшинства. «Нельзя без аристократии». Есть такой взгляд, но только я его не разделяю. Аристократии есть место в Англии, и там я ее понимаю, хотя и там считаю несправедливою и недолговечною; – роль аристократизма в польской истории вижу только губительную, а в русской истории никакого места аристократизму вовсе не нахожу, ибо строй нашей монархии демократический. В другие начала я не верю и служить им не могу. У меня есть хлеб, – пенсия, который я выслужил, а у жены моей в Петербурге, на Воскресенской набережной, есть домик, в котором мы и можем дожить нашу старость. Прощайте: служите честно, а меня не уговаривайте остаться. – При этом он горько улыба-

нулся и, обратясь с шутливою ирониею к Ивашину, добавил:

– Ваше взяло, Яков Фомич, – козырного туза, действительно, ничем не покроешь, а мои самоварчики заглохли и с тем роль моя кончена.

Так оно и было для него кончено. Он выехал из Варшавы, имея те же ограниченные достатки, с какими приехал. Поляки, считавшие Самбурского человеком справедливым и весьма его уважавшие, были, однако, чрезвычайно рады его падению. Его план о двадцати пяти тысячах самоваров сделался им известен через закрытые двери Петербурга или Варшавы и напугал их хуже самых больших пушек. Они ужаснулись этого плана, вредность которого для всех их затей была так очевидна по его необыкновенной простоте и органической прочности. Отдача казенных и конфискованных земель большими майоратами, в сравнении со страшным планом о самоварах, казалась легкою и сравнительно совсем неопасною для польского патриотизма, – что и оправдалось.

Самбурский выехал скоро; с фельдмарша-

лом они прощались в палатке, которая стояла у Паскевича в комнате. Разлука, вероятно, была теплая, потому что Самбурский, выйдя, казался растроганным. На виду пред всеми они еще поцеловались, а когда Иван Фомич возвратился домой, прислуга, убиравшая его плащ, нашла в его кармане и подала Самбурскому пакетик, в котором оказалась записочка на польском языке. Это было нечто вроде диплома, выданного «действительному русскому демократу Самбурскому» на звание «государственного самовара» (samowara państwa).

Над этой польской шуткой, которую немудрено было устроить в многолюдной лакейской, конечно, только и оставалось посмеяться.

Глава восьмая

Вместо Самбурского директором канцелярии был назначен Я—ч, человек совсем другого сорта и других правил. Он на первых же порах столкнулся с Ивашиным, который все еще продолжал хлопотать об эмеритуре для русских чиновников. Повздорив с начальником отделения, новый директор сказал ему:

– Я не могу с вами служить.

– И мне тоже это очень неприятно, – отвечал Ивашин: – просите себе перемещения или выходите в отставку.

Того это ужасно обидело, и он пожаловался Паскевичу.

– Ты ничего не понимаешь, и должен ценить людей, которых тебе оставил Самбурский, – отвечал фельдмаршал. А докучное дело об уравнении служебных выгод, приносившее много хлопот по сношениям, приказал «бросить».

Всему этому надо было долежаться до позднейшего времени и до других русских деятелей, которым удалось сделать в этих во-

просах более того, что мог сделать Самбурский. Чести их это, разумеется, нимало не уменьшает, но для исторической верности и справедливой оценки событий, может быть, не лишнее знать, что идеи князя Владимира Александровича Черкасского гораздо прежде его трудов в Польше имели первого дального, деятельного и притом самоотверженного и бескорыстнейшего представителя в лице Ивана Фомича Самбурского. Таких людей достойно знать и в известных случаях жизни подражать им, если есть сила вместить благородный патриотический дух, который согревал их сердце, окрылял слово и руководил поступками.

Впервые опубликовано – сборник «Три праведника и один Шерамур», СПб., 1880.